

СТИХОТВОРЕНИЕ Ф.И. ТЮТЧЕВА «НАД ЭТОЙ ТЕМНОЮ ТОЛПОЙ...» И ВОПРОС О ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЯХ

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, -
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа... (1857)

1

«Всем главным преобразованиям нынешнего царствования он сочувствовал от души и радовался всякому твердому шагу вперед, подавая свой пиитический голос»¹, - писал о Тютчеве его многолетний, еще с университетской поры, приятель М.П. Погодин в некрологе 1873 года. Примеры внимания поэта в 50 – 60-е годы к проблеме народной судьбы многочисленны и красноречивы. Об этом можно судить как по лирике Тютчева, так и по его эпистолярному наследию. В ноябре 1854 года поэт пишет жене: «...жизнь народная, жизнь историческая еще не пробудилась в массах населения. Она ожидает своего часа, и, когда этот час пробьет, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем»². Очевидно, что

понятие «жизни народной» и «жизни исторической» в этом контексте синонимичны, а предчувствуемое пробуждение страны не мыслится поэтом вне приобщения «масс населения» к исторической деятельности. Взгляды, выраженные в письме к Эрнестине Федоровне, для Тютчева отнюдь не случайны. Еще в 1852 году, обращаясь к тому же адресату, Тютчев восхищался антикрепостническими «Записками охотника», отмечая воплощенные в тургеневском цикле «чувство глубокой человечности» и «чувство художественное»³. В январе 1853 года Дарья Федоровна Тютчева сообщает сестре Анне, что, находясь в Овстуге, отец читает «Бориса Годунова» «так хорошо, что я позабыла о своем горе». По-видимому, пушкинская трагедия, с ее осмыслением «мнения народного» как определяющей стихии в ходе национальной истории, отвечала на существенные запросы тютчевской мысли в середине 50-х годов.

Интерес Тютчева к социально-исторической проблематике ощутимо обостряется в период катастрофической для России Крымской войны и получает новый импульс после смерти Николая и восшествия на престол нового царя. Размышления поэта о готовящихся преобразованиях драматичны. Так, в письме А.Д. Блудовой (сентябрь 1857 года) он предупреждает: «Истинное значение задуманной реформы сведется к тому, что произвол в действительности более деспотический, ибо он будет облечен во внешние формы законности, заменит собою произвол отвратительный, конечно, но гораздо более простодушный и, в конце концов, быть может, менее растлевающий...»⁴ Следы тютчевских раздумий о грядущих реформах зафиксированы не только в частной переписке, но и в официальных обращениях: таково письмо «О цензуре в России» (1857), в котором судьба страны уподоблена «кораблю, севшему на мель» и утверждается, что «только приливная волна народной жизни способна снять его с мели и пустить в плавь»⁵.

Внимание Тютчева приковано к мероприятиям, связанным с преобразованиями; его беспокоят медлительность и нерешительность правительственных комитетов, отсутствие в их работе ясной перспективы, равнодушие общества⁶. Февральский манифест 1861 года, судя по всему, поэт воспринимает восторженно. Одиннадцатого марта Дарья Тютчева в письме Екатерине замечает: «*Papa* пришлось переводить манифест об освобождении крестьян»⁷. Тогда же поэт пишет, адресуясь к Александру:

Ты взял свой день... Замеченный от века
Великою господней благодатью –
Он рабский образ сдвинул с человека
И возвратил семье меньшую братью.

Реакция Тютчева на великую реформу начала 60-х коренилась в эпохе 10 – 20-х годов 19 столетия. Молодой поэт читает распространяемую в списках вольнолюбивую лирику Пушкина и сам пишет полемический отклик на пушкинскую «Вольность», беседует о «свободном, благородном духе мыслей»⁸ с Погодиным, общается с некоторыми из будущих декабристов. В июне 1825 года Погодин, встретившийся с Тютчевым, после трехлетнего пребывания того за границей, запечатлевает в дневнике остроты собеседника: «В России канцелярия и казарма. - Все движется около кнута и чина. – Мы знали афишку, но не знали действия и т.п.»⁹ Подобные оппозиционные настроения были обычны в ближайшем тютчевском окружении не только в России, но и в Германии. Свидетельство тому – позднее письмо И.С. Гагарина Бахметевой (1875): «Мне было 19 лет, когда я оставил Россию с чувством живейшего отвращения к крепостничеству... и вообще к насилию». Девятнадцать Гагарину исполнилось в 1833 году. Именно тогда он и был назначен атташе при русской дипломатической миссии в Мюнхене, где вскоре сблизился с Тютчевым.

Тем не менее ни письма 20 – 30-х годов, ни лирика этого времени не удостоверяют, что социальная проблематика – предмет постоянных

тютчевских раздумий. Иное – в стихах и письмах конца 40-х и 50-х годов. Возвратившись на родину в 1844, поэт был вынужден заново осваивать русскую действительность. Одно из наиболее выразительных проявлений этого мучительно сложного и противоречивого процесса – стихотворение «Над этой темною толпой...».

2

Известен биографический повод к созданию стихотворения – впечатления поэта от церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы, свидетелем которого, находясь в Овстуге, Тютчев бывал неоднократно. Об атмосфере этого народного религиозного праздника писала Д.Ф. Тютчева сестре Анне в августе 1855 года: «Крестьянки были счастливы, как дети. Вечером они все пришли петь и плясать... Они импровизировали песни, сопровождавшие пляски и славившие *rara* и *tata*, да еще в стихах»¹⁰. Накануне того дня, о котором идет речь в письме дочери, Тютчев пишет одно из самых проникновенных стихотворений о народной доле – «Эти бедные селенья...». Близость между произведениями 1855 и 1857 годов очевидна, и не случайно они воспринимаются исследователями как два варианта в разработке одной лирико-философской темы. Такой подход имеет и свои традиции: в уже упоминавшемся некрологе М.П. Погодин писал: «Вот какие прекрасные, трогательные строки посвятил он (Тютчев – *И.Н.*) русскому народу...»¹¹, а далее автор некролога полностью процитировал «Эти бедные селенья...» и «Над этой темною толпой...». Погодин не сопровождает стихи комментариями, не говорит о различиях между ними. Между тем уточнения необходимы.

1855 и 1857 годы относятся к разным историческим эпохам русской жизни. Соответственно, в более раннем произведении Тютчев выступает как апологет христианского смирения, в более позднем – как провозвестник веками чаемого освобождения «меньшой братьи». До нас дошла первая редакция тютчевской пьесы:

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Срам, безобразье, нищета, -
Тут человечество немеет –
Кто ж это все прикрыть сумеет?..
Ты, риза чистая Христа...

Окончательный вариант стихотворения – результат коренной переработки начальной редакции. Полностью, за исключением финального стиха, изменена концовка, и введено важнейшее центральное четверостишие. Перемены не косметические, а концептуального плана. Недооценка этого факта способна привести к опасным искажениям в нашем восприятии стихотворения. Еще К.В. Пигарев указывал, что начальная редакция «с большей резкостью» выражает «бесчеловечие крепостного права»¹², чем итоговый вариант, но о причинах такого смягчения замечательный исследователь молчит.

В стихотворении «Над этой темною толпой...» звучат два голоса. В первой его части действительно речь идет о народной жизни и судьбе, но во второй заявляет о себе существенно иная тема. Звучание этого второго голоса пронизательно уловил Б.Я. Бухштаб. По мнению исследователя, Тютчев, перерабатывая первоначальный текст, не столько улучшает его, сколько меняет самый замысел произведения: монологически выдержанная антикрепостническая тема замещается темой «душевных страданий интеллигенции»¹³. Но и предложенное истолкование последней строфы далеко не единственно.

Во второй части тютчевского текста отчетливо звучит один из ведущих мотивов в лирике 50-х годов: трагическая участь личности, отчужденной от

Бога и стремящейся вернуть полноту жизни в приобщении и/или возвращении к истинной вере. Амплитуда метаний Тютчева от крайнего нигилизма к христианскому смирению и обратно видна по многим стихотворениям. Самодовлеющее *человеческое я* на рубеже 40 – 50-х годов обнаруживает для поэта недостаточность и недостоверность. «Человеческое я, желая зависеть лишь от одного себя, не признавая и не принимая другого закона, кроме собственного изволения, словом, человеческое я, заменяя собой Бога, конечно, не составляет еще ничего нового среди людей; но таковым сделалось самовластье человеческого я, возведенное в политическое и общественное право и стремящееся, в силу этого права, овладеть обществом», - писал Тютчев-публицист в 40-е годы. Тогда же Тютчев-поэт сказал об этом в стихотворении «Святая ночь на небосклон взошла...»:

И, как виденье, внешний мир ушел...
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь, и немощен, и гол,
Лицом к лицу пред пропостию темною.
На самого себя покинут он –
Упразднен ум и мысль осиротела –
В душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры, ни предела...

Готовность души «к ногам Христа навек прильнуть», по Тютчеву, является единственной возможностью обрести утраченную опору, преодолеть собственную раздвоенность, превозмочь мучительное сиротство богооставленности в социуме, истории и Вселенной. Размышления на этот счет – в таких шедеврах тютчевской лирики 50-х годов, как «Пошли, Господь, свою отраду...» (1850), «Наш век» (1851), «Памяти В.А. Жуковского» (1852), «О вещая душа моя...» (1855). Данный перечень может быть дополнен и стихотворением «Над этой темною толпой...». Во многих пьесах этого времени мы видим родственные концовки, в которых содержатся либо

прямое упоминание о Христе, либо реминисценции из Нового или Ветхого Завета. Таков, например, финал стихотворения «Наш век», которое вообще очень близко пьесе 1857 года. Не случайно в написанном позднее фактически присутствует автореминисценция: слова «не плоть, а дух растлился в наши дни...» спустя шесть лет отзовутся в строке «растленье душ и пустота».

Несмотря на очевидный повод к созданию стихотворения «Над этой темною толпой...», оно не будет верно понято вне широкого контекста русской поэзии 19 века. Причем речь должна идти не только о его связях с Некрасовским «Ночь. Успели мы всем насладиться...»¹⁴, но прежде всего о его историко-литературной соотнесенности с образцами пушкинской лирики.

3

Вопрос о месте Пушкина в сознании Тютчева 50 – 60-х годов освещен далеко не полно. Это естественно: последнее двадцатипятилетие жизни поэта (в отличие от эпохи 20 – 30-х), казалось бы, не предоставляет необходимых материалов для его решения, но они все-таки имеются, и их рассмотрение может стать результативным.

В тютчевской лирике этой поры имя Пушкина встречается дважды. Первый раз – в стихотворении «На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского» (1861):

Потом мы все, в молитвенном молчанье
Священные поминки сотворим,
Мы сотворим тройное возлиянье
Трем незабвенно-дорогим.

Нет отзыва на голос, их зовущий,
Но в светлый праздник ваших именин
Кому ж они не близки, не присущи –
Жуковский, Пушкин, Карамзин!..

Тональность процитированных строк, их теплота и сердечность сближают юбилейное послание Вяземскому с пушкинскими посланиями, например, со знаменитым «19 октября» 1825 года. В обоих произведениях звучат мотивы дружеского пира, вина, «чаш, подъятых к небесам», благодарных воспоминаний об умерших, расположения Муз и т.п. Так, в «19 октября» Пушкин лаконично сопоставляет себя с Дельвигом:

...Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

На сходной основе разворачивается и тютчевское сравнение творческой судьбы Вяземского с участью «иных»:

Иных она (Муза – *И.Н.*) лишь на заре лелеет,
Целует шелк их кудрей молодых,
Но ветерок чуть жарче лишь повеет –
И с первым сном она бежит от них.

А далее – непосредственно о Вяземском:

Досужая, она не мимоходом
Пеклась о вас, ласкала, берегла,
Растила ваш талант, и с каждым годом
Любовь ее нежнее все была.

Второй случай прямого упоминания о Пушкине в поздней тютчевской лирике – строфа из стихотворения «Черное море». Оно было написано по поводу расторжения Россией четырнадцатой статьи Парижского мирного договора 1856 года, который ограничивал русские права на военное присутствие в черноморском бассейне. Строфа, нас интересующая, звучит так:

И вот: *свободная стихия*, -
Сказал бы наш поэт родной, -

Шумишь ты, как во дни былые,
И катишь волны голубые,
И блещешь гордою красой.

Строки, выделенные авторским курсивом, - из начала известного пушкинского послания 1825 года. Однако «пушкинское» в процитированной строфе переосмыслено: у старшего поэта – пафос прощания («Прощай, свободная стихия...»), у Тютчева же, напротив, пафос возвращения, встречи с морем после вынужденной разлуки; у Пушкина торжество биографического плана, у Тютчева – переключение темы в план историко-политический. Но важно иное: по утверждению Тютчева, сказанное им мог бы произнести и Пушкин, иначе говоря, младший поэт ощущает себя не просто наследником пушкинской традиции, но как будто говорит от имени Пушкина, хотя и на мгновение, но отождествляет себя с ним.

Приведенные примеры всего лишь частные проявления громадного тютчевского интереса к Пушкину и в последние десятилетия жизни. Да и могло ли быть иначе, если круг общения поэта после его возвращения на родину составили люди, лично и хорошо Пушкина знавшие: Плетнев, Погодин, Жуковский, Вяземский, Горчаков, Чаадаев... Поэт, критик, философ, общественный деятель, дипломат, издатель, они знали Пушкина в разные эпохи его жизни, да и относились к нему по-разному. Именно поэтому из общения с ними Тютчев мог вынести представление о реально сложной, противоречивой личности «незабвенно-дорогого» поэта.

У проблемы есть еще один план. Хотя бы в некоторой степени на Тютчева должны были влиять публикации в русской периодике 50 – 60-х годов, авторы которых размышляли о его творчестве. Наиболее значительные из этих публикаций принадлежали Некрасову (1850) и Тургеневу (1854). В обеих работах бросается в глаза настойчивое стремление связать Тютчева-лирика с Пушкиным и великой поэтической эпохой начала века. Некрасов и Тургенев – представители следующего литературного поколения, их оценки уже суд

«читателя... в потомстве» (Боратынский). Тютчев же отнюдь не был безразличен к будущей судьбе собственного творчества. В этом отношении достаточно вспомнить, например, стихотворение «Михаилу Петровичу Погодину» (1868) или «Нам не дано предугадать...» (1869).

4

Стихотворение «Над этой темною толпой...» связано, как нам представляется, с двумя моментами в духовном становлении Пушкина: с периодом политического радикализма конца 10-х годов, во-первых, и с тяжелейшим кризисом 1828 года, во-вторых. Начало тютчевской пьесы перекликается с заключительной строкой пушкинской «Деревни» (1819).

Сравним:

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И Рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная Заря?
(Пушкин)

и

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..
(Тютчев)

Аналогия проявляется и в собственно содержательном плане (проблема социального освобождения народа путем реформ), и во множестве формальных совпадений: в синтаксической конструкции (вопрос с оттенком риторики), в метафоре («прекрасная Заря» и «золотой луч»), в общности словаря и т.д. Такое количество перекличек едва ли случайно, скорее оно результат внутренней ориентированности Тютчева на финал «Деревни». Есть

и косвенное свидетельство этому: первая редакция тютчевской пьесы еще в большей степени сближается с пушкинским текстом. «Срам, безобразье, нищета» почти автоматически вызывают в памяти центральную часть пушкинского стихотворения: «Но мысль ужасная здесь душу омрачает: Среди цветущих нив и гор Друг человечества печально замечает Везде Невежества убийственный Позор» и т.д. Кстати, и тютчевское «Тут человечество немеет...» тоже созвучно стиху «Друг человечества печально замечает...».

Почти наверняка Тютчев был знаком со списком «Деревни» еще в молодости. При очень большой популярности стихотворения в кругах либеральной молодежи юный Тютчев не мог пройти мимо этого произведения. Во второй половине 50-х, в пору подготовки освободительных реформ, обличительный, антикрепостнический пафос «Деревни» снова становится актуален. Стихотворение впервые полностью публикуется в герценовской «Полярной звезде» за 1856 год. В эту пору Тютчев уже следил за деятельностью Герцена¹⁵ (не забудем, что в 1865 году, будучи в Париже, он по собственной инициативе дважды встретится с издателем «Колокола» и «Полярной звезды»). Всего лишь через два месяца после создания стихотворения «Над этой темною толпой...» Тютчев напишет официально письмо «О цензуре в России», а весной 1858 будет назначен главой комитета по «цензуре иностранной».

В контексте предреформенной эпохи некоторые стороны пушкинского стихотворения могли быть переосмыслены. В частности – мечты увидеть «Рабство, падшее по манию царя». В конкретной обстановке конца 50-х пушкинская строка воспринималась как сбывающееся социальное пророчество: реформа сверху, обещанная Александром I, обретала реальные очертания с ведома и одобрения Александра II.

В первой строфе Тютчев как будто подхватывает вопрос, венчавший «Деревню». И тут же, в начале второго четверостишия, дает на него оптимистический ответ: «Блеснет твой луч и оживит И сон разгонит, и

туманы...». В последней из процитированных строк, может быть, учтено и пушкинское послание «К Чаадаеву» (1818): «...Как сон, как утренний туман...» Тютчев утверждает, что надежды лучшей части русского общества 20-х получают наконец реальное воплощение в конце 50-х.

Однако вторая половина тютчевского стихотворения посвящена принципиально иной проблематике:

Но старые, гнилые раны,

Рубцы насилий и обид,

Растрепанье душ и пустота,

Что гложет ум и в сердце ноет, -

Кто их излечит, кто прикроет?..

Ты, риза чистая Христа...

Противительный союз после многоточия сигнализирует о вторжении второго голоса, другого мотива: размышлений о судьбе личности в том обществе, которое поставило под сомнение традиционные христианские ценности. Но этот мотив – один из определяющих и в позднем пушкинском творчестве. С ним связаны такие выдающиеся образцы лирики Пушкина, как «Пророк», «Дар напрасный, дар случайный...», «Анчар», «В часы забав и праздной скуки...», «Странник», так называемый «каменноостровский цикл» и др. Последняя строфа тютчевского стихотворения с двумя из перечисленных – «Дар напрасный, дар случайный...» и «В часы забав и праздной скуки...» - соотносится не только типологически, но и конкретно-исторически. Еще в «Материалах для биографии А.С. Пушкина» Павел Васильевич Анненков писал: «Мысли его становятся тревожны и смутны в это время, и часто возвращается он к самому себе с грустью, упреком и мрачным настроением духа. Стихотворение «Воспоминание» написано 19 мая, «Дар напрасный...» 26 мая, а за ними следовало «Снова тучи надо мною...»¹⁶. В близком ключе размышляет о пушкинском кризисе 1828 года и

В.С. Непомнящий, утверждая, что в «Даре напрасном...» «начисто отрицается и начисто отвергается не что иное, как... «Пророк»¹⁷. Действительно, соответствия выразительны: в «Пророке» - «Как труп, в пустыне я лежал И Бога глас ко мне воззвал...»; В «Даре напрасном...» - «Кто меня враждебной властью Из ничтожества воззвал...». Сам Пушкин в письме Е.М. Хитрово (январь 1830 года) охарактеризовал строфы «Дара...» как «скептические куплеты». Как известно, на них последовал ответ митрополита Филарета (Василия Михайловича Дроздова) с призывом вернуться к Христу: «Вспомнись мне, Забвенный мною! Просияй сквозь сумрак дум, - И созиждется Тобою Сердце чисто, светел ум». Узнавший об ответе Пушкин напишет обращенное к Филарету стихотворение «В часы забав и праздной скуки...»:

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима,
Забыла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Однако здесь ответ не только Филарету, но и себе самому, на собственный мятеж 1828 года. Стихи эти тоже перекликаются с «Пророком»: в обоих случаях посланник Божий преображает жаждущую веры душу, очищает и возвышает ее. Не менее важно и отличие: ветхозаветная коллизия, воплощенная в «Пророке», в тексте 1830 года переведена в автобиографический план, а личная судьба увидена сквозь призму библейских ассоциаций.

Обмен репликами между Пушкиным и Филаретом имел резонанс в литературных кругах Москвы и Петербурга. Был ли об этом эпизоде из пушкинской жизни осведомлен Тютчев? Почти наверняка да. Источником информации мог служить и Вяземский, с которым Тютчев сближается в конце 30-х годов, и Александр Тургенев, знакомый Тютчеву еще по Мюнхену, и, наконец, сам Василий Дроздов. «Два раза я был... у митрополита...»¹⁸ - замечает Тютчев в письме жене от 13 июля 1851 года. А вот более развернутая выписка из письма, написанного двумя неделями ранее: «Вчера вечером я был у одной молодой и красивой вдовы, госпожи Небольсиной... Сегодня вечером для разнообразия съездим в гости к митрополиту, а утром съезжу поздравить друга моего Чаадаева – он Петр и, следовательно, сегодня именинник». Посещение Филарета выглядит здесь буднично, заурядно в серии иных светских визитов.

Особое значение имеет тютчевское письмо Эрнестине Федоровне, написанное в августе 1867 года: «Я для отвлечения ездил к Троице на юбилей митрополита Московского... Маленький, хрупкий, усохший до крайних пределов своего физического существа, но со взором, полным жизни и ума, и возвышавшийся, благодаря несокрушимой нравственной силе, над всем происходившим вокруг него... Окруженный поклонением, он был совершенен в своей простоте и естественности и, казалось, принимал все эти почести лишь затем, чтобы передать их кому-то другому, чьим представителем он случайно оказался»¹⁹. Характеристика 85-летнего Филарета, даваемая здесь Тютчевым, во многом подобна пушкинской, а местами – повторяет ее почти буквально: и упоминанием о «несокрушимой нравственной силе» юбиляра, и указанием на его духовную высоту, и самим восприятием Филарета как «случайного представителя» некой высшей инстанции, вызывающем в памяти пушкинские слова об «арфе серафима».

Драматический конфликт между верой и безверием, столь много определивший в пушкинском мироощущении конца 20-х годов,

необыкновенно остро воспринят Тютчевым конца 50-х. С учетом сказанного присмотримся к финалам пушкинского и тютчевского стихотворений: у Пушкина – «Сердце пусто, празден ум...», у Тютчева – «...пустота, Что гложет ум и в сердце ноет...». По существу, десятый стих Тютчева есть отражение десятого же стиха в пушкинской пьесе, ведь старославянское неполногласное *празден* (ум) означает не только «бездеятелен», но и «пуст». Есть и косвенное свидетельство тому, что пушкинские стихи жили в сознании Тютчева на протяжении десятилетий: в письме А.И. Георгиевскому, написанном сразу после похорон Денисьевой, Тютчев скажет: «Сердце пусто – мозг изнеможен». Трагедия отчуждения личности от Бога, воплощенная в тютчевской пьесе 1857 года, была угадана и мучительно пережита в пушкинских стихах конца 20 – 30-х годов. Тютчев написал о «старых, гнилых ранах», имея в виду общественную жизнь в России середины 19 века; но и этот мотив уже встречается в пушкинском ответе Филарету: «Я лил потоки слез нежданных, И ранам совести моей Твоих речей благоуханных Отраден чистый был елей!» Другое дело, что двенадцать строк Пушкина представляют момент его частной жизни, чурающейся какой бы то ни было публичности; согласно же Тютчеву, кризис веры охватил весь современный ему мир. И на вопрос о путях выхода человека из духовных тупиков и кризисов оба поэта отвечают одинаково: возвращение к Христу.

Таким образом, стихотворение «Над этой темною толпой...» обращено не только к исторической ситуации второй половины 50-х годов, но как будто спроецировано на судьбу Пушкина. В нем осмыслен путь, пройденный величайшим поэтом России: от радикальной проповеди политических свобод в молодости через трагедию усомнившегося духа к обретению смысла существования в глубокой и целительной вере, в традиционной христианской этике. Более того, этот путь понят зрелым Тютчевым как некий универсальный закон, всеобъемлющая формула развития русского самосознания.

Примечания

1. Ф.И. Тютчев. Литературное наследство, т. 97, кн. 2. – М., 1989, с. 25.
2. Ф. И. Тютчев. Сочинения, т. 2. – М., 1984, с. 228.
3. Там же, с. 192.
4. Там же, с. 251.
5. Цит. по: Ф.И. Тютчев. Полное собрание сочинений и письма в 6-ти томах, т. 3, с. 208.
6. «Когда же приходится видеть то, что делается, или, вернее, не делается здесь, - всю эту слабость мер ввиду абсолютно реальных затруднений, - невозможно при наличии такой явной нерадивости правительства... не поддаться самым серьезным опасениям», - писал Тютчев жене 5 июня 1858 года. – там же, с. 253.
7. Ф.И. Тютчев. Литературное наследство, т.97, кн. 2, с. 322.
8. Там же, с. 12.
9. Там же, с.13.
10. Там же, с. 273.
11. Там же, с. 25.
12. К.В. Пигарев. Ф.И. Тютчев и его время. – М., 1978, с. 268.
13. Б.Я. Бухштаб. Русские поэты. – Л., 1970, с. 51.
14. Н.Н. Скатов. Литературные очерки. – М., 1985, с. 262.
15. В уже упомянутом «Письме о цензуре» читаем: «До сих пор, когда речь заходит о русской печати за границей, имеется в виду, как правило, лишь издание Герцена. Какое значение имеет Герцен для России? Кто его читает? Случайно ли его социалистические утопии и революционные происки привлекают к себе внимание? <...> И как же скрыть от себя, что его сила и влияние определяются в нашем представлении свободными прениями, пусть и на предосудительных основаниях... на основаниях ненависти и пристрастия, но тем не менее достаточно свободных... для включения в состязание и других мнений, более продуманных и умеренных, а отчасти и

вовсе разумных». – Ф.И. Тютчев. Полное собрание сочинений и письма в 6-ти томах, т. 3, с. 210 – 211.

16. П.В. Анненков. Материалы для биографии А.С. Пушкина. – М., 1984, с. 194.

17. В.С. Непомнящий. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. – М., 1987, с. 438.

18. Ф. И. Тютчев. Сочинения, т. 2, с. 155.

19. Цит. по: Ф.И. Тютчев. Полное собрание сочинений и письма в 6-ти томах, т. 6. – М., 2004, с. 249 – 250.